

Любовь и нежность в аду

Этот роман принадлежит тому роду литературы, который, казалось бы, совершенно утрачен со времени распада СССР. У нас была прекрасная плеяда двукультурных писателей, которые принадлежали одному из этносов, населяющих империю, но писавших на русском языке. Фазиль Искандер, Юрий Рытхэу, Анатолий Ким, Олжас Сулейменов, Чингиз Айтматов... Традиции этой школы – глубокое знание национального материала, любовь к своему народу, исполненное достоинства и уважения отношение к людям других национальностей, деликатное прикосновение к фольклору. Казалось бы, продолжения этому не будет, исчезнувший материк. Но произошло редкое и радостное событие – пришел новый прозаик, молодая татарская женщина Гузель Яхина и легко встала в ряд этих мастеров.

Роман «Зулейха открывает глаза» – великолепный дебют. Он обладает главным качеством настоящей литературы – попадает прямо в сердце. Рассказ о судьбе главной героини, татарской крестьянки времен раскулачивания, дышит такой подлинностью, достоверностью и обаянием, которые не так уж часто встречаются в последние десятилетия в огромном потоке современной прозы.

Несколько кинематографичный стиль повествования усиливает драматизм действия и яркость образов, а публицистичность не только не разрушает повествования, но, напротив, оказывается достоинством романа. Автор возвращает читателя к словесности точного наблюдения, тонкой психологии и, что самое существенное, к той любви, без которой даже самые талантливые писатели превращаются в холодных регистраторов болезней времени. Слово сочетание «женская литература» несет в себе пренебрежительный оттенок — в большой степени по милости мужской критики. Между тем женщины лишь в двадцатом веке освоили профессии, которые до этого времени считались мужскими: врачи, учителя, ученые, писатели. Плохих романов за время существования жанра мужчинами написано в сотни раз больше, чем женщинами, и с этим фактом трудно поспорить. Роман Гузель Яхиной — вне всякого сомнения — женский. О женской силе и женской слабости, о священном материнстве не на фоне английской детской, а на фоне трудового лагеря, адского заповедника, придуманного одним из величайших злодеев человечества. И для меня остается загадкой, как удалось молодому автору создать такое мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду... Я от души поздравляю автора с прекрасной премьерой, а читателей — с великолепной прозой. Это блестящий старт.

Людмила Улицкая

Часть первая

Мокрая курица

Один день

Зулейха открывает глаза. Темно, как в погребке. Сонно вздыхают за тонкой занавеской гуси. Месячный жеребенок шлепает губами, ища материнское вымя. За окошком у изголовья – глухой стон январской метели. Но из щелей не дует – спасибо Муртазе, законопатил окна до холодов. Муртаза – хороший хозяин. И хороший муж. Он раскатисто и сочно всхрапывает на мужской половине. Спи крепче, перед рассветом – самый глубокий сон.

Пора. Аллах Всемогущий, дай исполнить задуманное – пусть никто не проснется.

Зулейха бесшумно спускает на пол одну босую ногу, вторую, опирается о печь и встает. За ночь та остыла, тепло ушло, холодный пол обжигает ступни. Обуться нельзя – бесшумно пройти в войлочных ката не получится, какая-нибудь половица да и скрипнет. Ничего, Зулейха потерпит. Держась рукой за шершавый бок печи, пробирается к выходу с женской половины. Здесь узко и тесно, но она помнит каждый угол, каждый уступ – полжизни скользит ту-

да-сюда, как маятник, целыми днями: от котла – на мужскую половину с полными и горячими пиалами, с мужской половины – обратно с пустыми и холодными.

Сколько лет она замужем? Пятнадцать из своих тридцати? Это даже больше половины жизни, наверное. Нужно будет спросить у Муртазы, когда он будет в настроении, – пусть подсчитает.

Не запнуться о палас. Не удариться босой ногой о кованый сундук справа у стены. Перешагнуть скрипучую доску у изгиба печи. Беззвучно прошемыгнуть за ситцевую чаршау, отделяющую женскую часть избы от мужской... Вот уже и дверь недалеко.

Храп Муртазы ближе. Спи, спи ради Аллаха. Жена не должна таиться от мужа, но что поделаешь – приходится.

Теперь главное – не разбудить животных. Обычно они спят в зимнем хлеву, но в сильные холода Муртаза велит брать молодняк и птицу домой. Гуси не шевелятся, а жеребенок стукнул копытцем, встряхнул головой – проснулся, чертяка. Хороший будет конь, чуткий. Она протягивает руку сквозь занавеску, прикасается к бархатной морде: успокойся, свои. Тот благодарно пыхает ноздрями в ладонь – признал. Зулейха вытирает мокрые пальцы об исподнюю рубашу и мягко толкает дверь плечом. Тугая, обитая на зиму войлоком, она тяжело подается, сквозь щель влетает колкое морозное облако. Делает шаг, переступая высокий порог, – не хватало еще наступить на него именно сейчас и потревожить злых духов, тьфу-тьфу! – и оказывается в сенях. Притворяет дверь, опирается о нее спиной.

Слава Аллаху, часть пути пройдена.

В сенях холодно, как на улице, – кожу щиплет, рубаха не греет. Струи ледяного воздуха бьют сквозь щели пола в босые ступни. Но это не страшно.

Страшное – за дверью напротив.

Убырлы карчык – Упыриха. Зулейха ее так про себя называет. Слава Всевышнему, свекровь живет с ними не в одной избе. Дом Муртазы просторный, в две избы, соединенные общими сенями. В день, когда сорокапятилетний Муртаза привел в дом пятнадцатилетнюю Зулейху, Упыриха с мученической скорбью на лице сама перетаскала свои многочисленные сундуки, тюки и посуду в гостевую избу и заняла ее всю. «Не тронь!» – грозно крикнула она сыну, когда тот попытался помочь с переездом. И не разговаривала с ним два месяца. В тот же год начала быстро и безнадежно слепнуть, а еще через некоторое время – глухнуть. Спустя пару лет была слепа и глуха, как камень. Зато теперь разговаривала много, не остановить.

Никто не знал, сколько ей было на самом деле лет. Она утверждала, что сто. Муртаза недавно сел подсчитывать, долго сидел – и объявил: мать права, ей действительно около ста. Он был поздним ребенком, а сейчас уже сам – почти старик.

Упыриха обычно просыпается раньше всех и выносит в сени свое бережно хранимое сокровище – изящный ночной горшок молочно-белого фарфора с нежно-синими васильками на боку и причудливой крышечкой (Муртаза привез как-то в подарок из Казани). Зулейхе полагается вскочить на зов свекрови, опорожнить и осторожно вымыть драгоценный сосуд – первым делом, перед тем, как топить печь, ставить тесто и выводить корову в стадо. Горе ей, если проспит эту утреннюю побудку. За пятнадцать лет

Зулейха проспала дважды – и запретила себе вспоминать, что было потом.

За дверью пока – тихо. Ну же, Зулейха, мокрая курица, поторопись. Мокрой курицей – *жебегиан тавык* – ее впервые назвала Упыриха. Зулейха не заметила, как через некоторое время и сама стала называть себя так.

Она крадется в глубь сеней, к лестнице на чердак. Нащупывает гладко отесанные перила. Ступени крутые, подмерзшие доски чуть слышно постанывают. Сверху веет стывшим деревом, мерзлой пылью, сухими травами и едва различимым ароматом соленой гусятины. Зулейха поднимается – шум метели ближе, ветер бьется о крышу и воет в углах.

По чердаку решает ползти на четвереньках – если идти, доски будут скрипеть прямо над головой у спящего Муртазы. А ползком она прошмыгнет, веса в ней – всего ничего, Муртаза одной рукой поднимает, как барана. Она подтягивает ночную рубаху к груди, чтобы не испачкалась в пыли, перекручивает, берет конец в зубы – и на ощупь пробирается между ящиками, коробами, деревянными инструментами, аккуратно переползает через поперечные балки. Утыкается лбом в стену. Наконец-то.

Приподнимается, выглядывает в маленькое чердачное окошко. В темно-серой предутренней мгле едва проглядывают занесенные снегом дома родного Юлбаша. Муртаза как-то считал – больше ста дворов получилось. Большая деревня, что говорить. Деревенская дорога, плавно изгибаясь, рекой утекает за горизонт. Кое-где в домах уже зажглись окна. Скорее, Зулейха.

Она встает и тянется вверх. В ладони ложится что-то тяжелое, гладкое, крупно-пузырчатое – соле-

ный гусь. Желудок тотчас вздрагивает, требовательно рычит. Нет, гуся брать нельзя. Отпускает тушку, ищет дальше. Вот! Слева от чердачного окошка висят большие и тяжелые, затвердевшие на морозе полотнища, от которых идет еле слышный фруктовый дух. Яблочная пастила. Тщательно проваренная в печи, аккуратно раскатанная на широких досках, заботливо высушенная на крыше, впитавшая жаркое августовское солнце и прохладные сентябрьские ветры. Можно откусывать по чуть-чуть и долго рассасывать, катая шершавый кислый кусочек по нёбу, а можно набить рот и жевать, жевать упругую массу, сплевывая в ладонь изредка попадающиеся зерна... Рот мгновенно заливают слюна.

Зулейха срывает пару листов с веревки, скручивает их плотно и засовывает под мышку. Проводит рукой по оставшимся – много, еще очень много осталось. Муртаза не должен догадаться.

А теперь – обратно.

Она встает на колени и ползет к лестнице. Свиток пастилы мешает двигаться быстро. Вот ведь действительно – мокрая курица, не догадалась какую-нибудь торбу взять с собой. По лестнице спускается медленно: ног не чувствует – заоченели, приходится ставить онемевшие ступни боком, на ребро. Когда достигает последней ступеньки, дверь со стороны Упырихи с шумом распаивается, и светлый, едва различимый силуэт возникает в черном проеме. Стукает об пол тяжелая клюка.

– Есть кто? – спрашивает Упыриха темноту низким мужским голосом.

Зулейха замирает. Сердце ухает, живот сжимается ледяным комом. Не успела... Пастила под мышкой оттаивает, мягчает.

Упыриха делает шаг вперед. За пятнадцать лет слепоты она выучила дом наизусть – передвигается в нем уверенно, свободно.

Зулейха взлетает на пару ступенек вверх, крепче прижимая к себе локтем размякшую пастилу.

Старуха ведет подбородком в одну сторону, в другую. Не слышит ведь ничего, не видит, – а чувствует, старая ведьма. Одно слово – Упыриха. Клюка стучит громко – ближе, ближе. Эх, разбудит Муртазу...

Зулейха перескакивает еще на несколько ступенек выше, жметя к перилам, облизывает пересохшие губы.

Белый силуэт останавливается у подножия лестницы. Слышно, как старуха приносится, с шумом втягивая ноздрями воздух. Зулейха подносит ладони к лицу – так и есть, пахнут гусятиной и яблоками. Вдруг Упыриха делает ловкий выпад вперед и наотмашь бьет длинной клюкой по ступеням лестницы, словно разрубая их мечом пополам. Конец палки свистит где-то совсем близко и со звоном вонзается в доску в полупальце от босой ступни Зулейхи. Тело слабеет, тестом растекается по ступеням. Если старая ведьма ударит еще раз... Упыриха бормочет что-то невнятное, подтягивает к себе клюку. Глухо звякает в темноте ночной горшок.

– Зулейха! – зычно кричит Упыриха на сыновью половину избы.

Так обычно начинается утро в доме.

Зулейха сглатывает высохшим горлом комок плотной слюны. Неужели обошлось? Аккуратно переставляя ступни, сползает по лестнице. Выжидает пару мгновений.

– Зулейха-а-а!

А вот теперь – пора. Третий раз повторять све-кровь не любит. Зулейха подскакивает к Упырихе – «Лечу, лечу, мама!» – и берет из ее рук тяжелый, покрытый теплой липкой испариной горшок, как делает это каждый день.

– Явилась, мокрая курица, – ворчит та. – Только спать и горазда, лентяйка...

Муртаза наверняка проснулся от шума, может выйти в сени. Зулейха сжимает под мышкой пастилу (не потерять бы на улице!), нащупывает ногами на полу чьи-то валенки и выскакивает на улицу. Метель бьет в грудь, берет в плотный кулак, пытаясь сорвать с места. Рубаха поднимается колоколом. Крыльцо за ночь превратилось в сугроб, – Зулейха спускается вниз, еле угадывая ногами ступеньки. Проваливаясь почти по колено, бредет к отхожему месту. Борется с дверью, открывая ее против ветра. Швыряет содержимое горшка в оледенелую дыру. Когда возвращается в дом, Упырихи уже нет – ушла к себе.

На пороге встречает сонный Муртаза, в руке – керосиновая лампа. Кустистые брови сдвинуты к переносице, морщины на мятых со сна щеках глубоки, словно вырезаны ножом.

– Сдурела, женщина? В метель – нагишом!

– Я только горшок мамин вынесла – и обратно...

– Опять хочешь ползимы больная проваляться? И весь дом на меня взвалить?

– Что ты, Муртаза! Я и не замерзла совсем. Смотри! – Зулейха протягивает вперед ярко-красные ладони, плотно прижимая локти к поясу, – под мышкой топорщится пастила. Не видно ли ее под рубахой? Ткань промокла на снегу, липнет к телу.

Но Муртаза сердится, на нее даже не смотрит. Сплевывает в сторону, растопыренной ладонью